

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Последняя веточка (Сибирские рассказы)



МАМИН, Дмитрий Наркисович, псевдоним — Д. Сибиряк (известен как Д. Н. Мамин-Сибиряк) (25.X(6.XI).1852, Висимо-Шайтанский завод Верхотурского у. Пермской губ.- 2(15).XI.1912, Петербург) — прозаик, драматург. Родился в семье заводского священника. С 1866 по 1868 г. учился в Екатеринбургском духовном училище, а затем до 1872 г. в Пермской духовной семинарии. В 1872 г. М. едет в Петербург, где поступает на ветеринарное отделение Медико-хирургической академии. В поисках заработка он с 1874 г. ста-

новится репортером, поставляя в газеты отчеты о заседаниях научных обществ, В 1876 г., не кончив курса в академии, М. поступает на юридический факультет Петербургского университета, но через год из-за болезни вынужден вернуться на Урал, где он живет, по большей части в Екатеринбурге, до 1891 г., зарабатывая частными уроками и литературным трудом. В 1891 г. М. переезжает в Петербург. Здесь, а также в Царском Селе под Петербургом он прожил до самой смерти.

Содержание

I.....	.0006
II.....	.0015
III.....	.0025
IV.....	.0035
V.....	.0043

Д.Н. Мамин-Сибиряк
Последняя веточка
(Из старообрядческих
мотивов)

Когда мне случается проезжать через большее село Займище, я всегда завертываю в старый бороздинский дом, к старушке Миропее Михайловне: такая милая и почтенная старушка, что совестно проехать мимо. Сам бороздинский дом представлял собою нечто совсем особенное: двухэтажный, большой, с крутой железной крышей, весь почерневший от времени, он был построен еще стариком Бороздиным, и построен так крепко из кондового леса, что простоял целых сто лет и не пошатнулся, только бревна сделались бурыми, да крышу несколько раз переменили, точно старый дом менял шапку.

В Займище была всего одна улица, огибавшая полукругом большое Черное озеро на целую версту; дома вытянулись в два порядка, и почти у каждого в огороде торчало по несколько деревьев. Последним Займище резко отличалось от всех окрестных сел и деревень.

— Это еще наши деды сады сохранили... — объясняла Миропея Михайловна. — Ну, ста-

ринка-то и держится. Дикое прежде место было, раменье, а теперь все кругом вон как обчистили.

Бороздинский старый дом стоял в самом центре села и упирался задом в озеро. Таких старинных домов в Займище было несколько, но они все развалились или стояли пустые; держался один только бороздинский, так умненько поглядывавший своими маленькими окнами на улицу и на своих новых соседей. Я всегда испытываю какое-то особенное чувство почтения, когда еще издали завижу два ряда окошек бороздинского дома, вышку со слюдяной оконницей, сплошную массу служб, шатровые ворота с деревянной резьбой, завалинку, на которой любил летом посидеть сам старик Михайло Васильич, любясь бегавшими по улице внучатами: что-то такое почтенное и строгое чувствовалось в этой деревянной громаде, служащей живой летописью четырех поколений. Нынче, в наше грошовое и обманчивое время, таких хороших, именно семейных домов больше не строят, а из кожи лезут, чтобы из дома сделать что-то вроде трактира с номерами для

господ приезжающих. Михайло Васильич потому и не любил бывать в городе и постоянно жаловался:

— Остановиться не у кого — с души воротит... Трактир не трактир, казарма не казарма, а только настоящих домов нет. Исшатался народ, дома-то не живут, — ну, скворечницы себе и налаживают...

Маленькая калитка с железным кольцом вела на широкий двор, устланный деревянными плахами; на Урале еще сохранились кое-где такие дворы с деревянным полом; они занесены к нам раскольничьими выходцами из лесных заволжских губерний. Иногда они делаются совсем закрытыми, так что во дворе совсем темно даже среди белого дня. Крутом бороздинского двора вытянулись сплошной деревянной стеной сарай, конюшни, амбары, стаи, кладовые и кладовки;^[1] но теперь все это хозяйственное строение было пусто и заметно ветшало с каждым годом: где крыша дала течь, где угол осел, где дверь покосилась; нужен был везде хороший хозяйский глаз, а его-то и не было. Самый дом выходил на двор широким крыльцом; за ним следовали холод-

ные стены с какими-то хозяйственными перегородками. Главные покои находились во втором этаже, под ними — теплые повалуши [2], над ними — светелка и летник; около жилых комнат жались разные тайнички, переходы, чуланы и каморки.

В бороздинском доме больше пятидесяти лет существовала тайная раскольничья моленная, в которой и теперь еще молились займищенские староверы. Эта моленная образовалась из разоренных скитов, которые процветали в Займище еще в тридцатых годах настоящего столетия. Скиты были опечатаны предержащими «властодержцами», старики и старицы были изгнаны, а святыня, какую успели спасти, вся перешла в бороздинский дом, и Михайло Васильич берег эту святыню, как зеницу ока.

Теперь бороздинский дом стоял почти совсем пустой, за исключением одной только угловой комнаты в нижнем этаже, где перебывалась сама Миропея Михайловна со своей десятилетней внучкой Афонюшкой.

— Главная причина — топить надо бы всю хоромину, а дрова ноне дорогие, — объясняла

старушка с неизменным тяжелым вздохом. — Где взять-то!.. Наше дело сиротское, сами крохами питаемся от добрых людей. Не оставляют нас с Афонюшкой...

Миропея Михайловна любила показывать родительский дом и не раз водила меня по всем этажам. Комнаты были небольшие и сохранились в том виде, в каком остались после самого Михаила Васильича: старинная тяжелая мебель, выкрашенные клеевой краской стены, желтые полы, изразцовые печи, бронзовые канделябры, двуспальные кровати, везде по углам образа старинного письма. В гостиной канареечного цвета висел портрет самого Михаила Васильича, писанный масляными красками; это был седой, благообразный старик с темными, суровыми глазами.

По шатавшимся лесенкам и переходам мы поднялись в светелку, где росли и невестились четыре поколения бороздинских красавиц и где выросла сама Миропея Михайловна, единственная дочь Михаила Васильича. Мне эта светелка нравилась больше всех других комнат, потому что с нее открывался отличный вид на все Займище, Черное озеро и

синевшие вдали «уральские бутры».

— Хорошо здесь! — говорил я, любуясь видом.

— Прежде лучше было, — вспомнила Миropея Михайловна, поглядывая в окошечко. — Покойник-тятенька очень даже любил сюда захаживать... Прежде-то наше Займище было красивее не в пример. Не было вон тех пустырей по улице, да и дома не так строили...

— Пустыри от скитов остались?

— От них от самых... Земелька одна осталась да могилки... А сколько боголюбивого народичку тут проживало: старцы, старицы, странные люди, убогонькие, сироты. А нынче что?.. Не глядели бы глазыньки... Домишко-другой поставят, так и тот заворуем глядит... Ну, так и живут!

Открывавшийся из светлицы вид окрестностей Займища был замечателен тем, что вся эта всхолмленная широкая равнина, по дну которой катилась горная речонка Вежайка, образовавшая Черное озеро, — вся эта равнина была пропитана золотым песком, снеженным сюда с восточных отрогов Уральского

хребта. Когда-то по берегам Вежайки и Черного озера красовались вековые леса, а теперь, благодаря золоту, все превращено было в безлесную пустыню, изрытую по всем направлениям; там и сям желтыми пятнами выделялись работавшие и заброшенные прииски, шахты, валы перемывок, старые отвалы.

— Вон как землю-то кругом изрыли!.. — печально говорила Миропея Михайловна, рассматривая окрестности. — Прежде-то куда ни повернись — везде лес, шуба шубой, а нынче девкам за грибами некуда сходить. С золотом-то этим все по миру пошли... Бедует народ.

— Да ведь у вас хорошие были прииски?

— А господь с ними, голубчик... Разорение одно от них, кто ежели по-истовому живет. Не таковское это дело... И без золота жили, а с золотом все прожили остальное, что было накоплено еще покойничком-тятенькой. Дом, вон, того гляди, начнет разваливаться, и поправить нечем... Тут бы гвоздик заколотить, там бы досточку наладить, а управа-то не берет, да и дело наше с Афонюшкой женское, неспособное.

Афонюшка, быстроглазая смуглая девочка, всегда слушала рассказы бабушки с немým вниманием и постоянно расспрашивала, кто жил в этой комнате, кто в той, где спал дедушка Михайло, где обедали, работали, веселились. Старый бороздинский дом был до краев наполнен такими семейными воспоминаниями: на лежанке внизу жила юродивая Домнушка, в светелке свои девушки, дедушка Михайло умер в угловой, где неугасимая горит и теперь, на святках играли в «вошюлки» (жмурки) в средней комнате, где обедали, гостей принимали в желтой гостиной и т. д., и т. д.

— А в синей комнате жил твой отец с матерью, — прибавляла старушка. — Тихой он был характером-то... Ну, а мать задорная была; так-то ничего — добрая, только сердцем горяча: чуть что — и загорелась, как порох.

— У вас всех детей сколько было, Миропея Михайловна?

— Девять человек в живых, да шестерых схоронила, голубчик. Из живых-то четыре дочери замужем были, потом три сына были женатых да два холостых... Афонюшка от се-

редняка пошла, Спиридоном звали. При покойничке в дому за сорок человек постоянно живало, а как я своих детей подняла на ноги да оженила, так и не сосчитаешь скоро-то... Дочери, конечно, при мужьях жили, ну, старший сын выделился, а остальные все одной кучей. Это до промыслов было, а как занялись золотом — все и пошло врозь...

К этому старушка неизменно прибавляла:
— Теперь вот одна Афонюшка осталась, как синь-порох... Всех я перехоронила; пошел, видно, наш бороздинский род на перевод.

Всего интереснее в бороздинском доме была та угловая каморка, в которой приютилась Миропея Михайловна со своей внучкой. Довольно большая и длинная комната с низким потолком была так загромождена какими-то сундуками и старинкой мебелью, что буквально пошевелиться было негде; старушка, как мышь, сносила в свою нору все, что оставалось хорошего в доме. Весь этот хлам служил для нее бесконечным материалом для воспоминаний, которые покрывали каждую вещь точно слоем пыли. Зеленое кресло, стоявшее в углу, осталось от тятеньки Михаила Васильевича, который любил на нем сидеть; комод с бронзовыми уголками и ручками — от покойницы маменьки; в сундуках хранились старинные шубы, крытые какой-то необыкновенной материей, толстой, как кожа, шелковые сарафаны, выложенные дорогим позументом, старинные дорогие покрывала, повязки, кокошники, душегрейки и т. д. Раз в два или три в год, главным образом весной, Миропея Михайловна извлекала все это

«добро» из недр своих сундуков и проветривала. Это было настоящее торжество, и маленькая Афонюшка не отходила от «баушки», рассказывавшей историю каждой вещи своим ровным, невозмутимым голосом, точно журчал по камешкам ручеек. И лицо у бабушки делалось какое-то совсем особенное — такое ласковое-ласковое и печальное, а глаза подергивались слезой.

— Баушка, о чем ты плачешь? — спрашивала девочка, сама готовая расплакаться над всеми этими шубами и сарафанами.

— Так, милушка... Стара я, Афонюшка; раздумаешься да раздумаешься, ну, и защежит сердечушко. Тебе это еще рано знать...

— Разве все старые люди плачут, баушка?

— Да как тебе сказать-то, милушка... Есть и веселые старички, только это редко бывает: мало веселого-то бог нам посылает, — ну, человек терпит-терпит, да и не вытерпит.

Девочка плохо понимала печальные размышления бабушки и только ласково прижималась к ней своей русой, кудрявой головкой. Небольшого роста, худощавая, но еще очень крепкая для своих шестидесяти лет, Миропея

Михайловна невольно обращала на себя общее вынимание тем, что переживает красоту и молодость и что мы называем внутренней, душевной красотой. Эта красота сказывалась и в неторопливых движениях, и в ласковой улыбке, и больше всего в спокойном, сосредоточенном взгляде больших темных глаз, полных неугасавшего огня. Темненькое платье и такой же платок на голове придавали старушке немного монашеский вид и еще лучше оттеняли ее морщинистое лицо с такой необыкновенной кожей, цвета церковной просвиры; это лицо было проникнуто внутренним светом, и ни одна тень не ложилась на него. На такие лица хочется смотреть, точно сам делаешься лучше от одного их присутствия.

Рядом с бабушкой десятилетняя Афонюшка выглядела настоящим полевым цветочком, хотя Миропея Михайловна одевала ее тоже во все темное: ситцевое темненькое платьице, такой же платочек на голове и только в виде исключения какая-нибудь светленькая ленточка в русой косе или нитки стеклянных бус на шее. От этой монашеской простоты то-

ненькое и бледное личико девочки казалось еще свежее, а светло-карие глаза блестели, как два дорогих камня. В тихой и однообразной жизни разрушавшегося бороздинского дома детский голосок, неутомонная возня и проказы Афонюшки являлись точно солнечным лучом; девочка выросла в этой развалине, как растет и гнездится где-нибудь в забытом угле одинокая травка.

— Болит мое сердечушко об этой Афонюшке, ох, болит! — не раз говаривала Миропея Михайловна, когда девочка играла под окном или на дворе. — Не жилица она на белом свете!.. Вот и чашечку как-то разбила, — фарфоровая такая была чашечка, еще покойничек-тятенька у китайца в Ирбитской купил. Из этой чашечки я маленькая чай пила, потом своих дочерей поила... И все в шкапике эта чашечка стояла, сколько годов стояла, а тут, как на грех, и попади на глаза Афонюшке: «Дай да дай, баушка миленькая...» — «Разобьешь!» — «Нет, баушка». Ну, ластилась, ластилась ко мне, я и дала ей чашечку-то. Поиграла она с ней, а потом сели чай пить, я только налила кипятку — чашечка-то на

несколько частей и развалилась, сама собой развалилась. И так мне было жаль этой чашечки, так жаль, что и сказать не умею; даже смешно рассказывать-то, что о таких пустяках человек может беспокоиться.

Нужно сказать, что в комнате Миропеи Михайловны был заветный стеклянный шкаф, битком набитый разной разностью: стояла в нем старинная чайная посуда, висели на гвоздиках фарфоровые и сахарные пасхальные яйца, отдельной пирамидкой красовались старые бонбоньерки; тут же лежали неизвестно для чего обломанные детские игрушки, какие-то подушечки, вышитые бисером, дорожные серебряные стаканчики, несколько обношенных альбомов и т. д. С каждой вещицей здесь непременно было связано какое-нибудь семейное воспоминание, заставлявшее Миропею Михайловну тяжело вздыхать: куклой в синем сарафане играла любимая дочь Феюшка, из серебряного стаканчика пил всегда тятенька, когда случалось ездить в дорогу, зеленую бонбоньерку подарил свекор, сахарное яичко с желтым барашком привезла матушка-свекровушка, когда

родился Спиря, в альбомах были фотографии всей родни и бесчисленных знакомых.

— И нынче хорошие-то люди не обегают, а прежде знакомство большое у нас было по всей округе, — любила повторять старушка, перебирая в шкапу свои семейные реликвии. — Уж про наших-то уральских и говорить нечего: кругом свой народ был — в Екатеринбурге, в Шадрине, в Ирбите, по заводам везде, в Тюмени, в Верхотурье. А были знакомцы из Нижнего, из Иркутска, из Москвы — хорошие знакомцы, хоть не видались годами. Торговое дело, нельзя: на людях жили...

Но, как ни дорог был Миропее Михайловне ее заветный стеклянный шкаф, служивший для нее живой семейной летописью, первое место в ее каморке принадлежало, конечно, переднему углу, где от полу до потолка, в два створа, стоял старинный «иконостас», выкрашенный синей краской. Этот иконостас был фамильной святыней, и всегда пред ним теплилась неугасимая лампада. Всех икон было больше двадцати, и все старинного редкого письма, с темными ликами, дорогими оклада-

ми и самой подробной биографией каждого образа.

— Старинка все! — ласково говорила Миродея Михайловна, любуясь своим иконостасом.

Коллекция бороздинских икон была в своем роде замечательное явление. Она составила в смутную эпоху разорения займищенских скитов, когда Михайло Васильич много «облюбовал божьего благословения», то есть приобрел за большие деньги некоторые «истинники» древних писмен. Таким образом к нему попали «фрязи»[3] XVII века, иконы новгородского пошиба, строгановское письмо и особенно много икон так называемого сибирского письма. Между прочим, в этом хранилище был образец работы знаменитого Рублева, хотя и под сильным сомнением: таких «истинников» греческого, киевского и новгородского дела много выпускает Москва, где проживают доднесь великие мастера из нового делать старое. Вся эта «древляя» иконопись была украшена дорогими окладами обронного и басменного дела, с разными поднизями, рясно и цатами, унизанными жемчугом и са-

моцветным камнем[4].

— Была еще одна у меня икона, да не умела хранить, — рассказывала однажды Миропея Михайловна, закручинившись. — Не к рукам, видно, или уж так господь хотел наказать.

— Куда же она у вас девалась?

— Икона-то?.. Потеряла я ее — мой грех... То есть и не потеряла даже, а так как-то сама собой ушла из дому. Таких икон я больше и не видывала: лик Еммануилов был, прямо радостный образ самого Христа-младенца. Уж я искала-искала его, ревела-ревела, обещания всякие давала: нет, как под землю ушел образок... Из себя-то он был такой маленький, складеньком, и всегда в иконостасе на первом месте стоял, потому как он у нас был родовой, и покойничек-тятенька, когда им меня благословлял, крепко наказывал: «Блуди его пуще глазу, ежели добра себе хочешь... По всему нашему роду прошел образок-то, с ним прадед наш с Керженца на Урал пришел; у прадеда-то только всего и имущества было, что этот самый образок». Так все и вышло, как покойничек-тятенька Михайло Васильич

сказал... Хранила я этот образок, действительно, неусыпно и везде его из дому с собой носила. Так и замуж выходила, и замужем больше двадцати лет прожила. Детишек на ноги мало-мало успела поднять и пристроить по своим делам: девок замуж повыдала, сыновей по занятиям разным... Все у нас хорошо шло, дом как полная чаша, а тут образок-то и потеряйся. И как это случилось — даже ума не приложу... Так уж, видно, господу было угодно. Перед самой это пасхой случилось, на страстной неделе... Уборка у нас шла по дому-то; ну, дом вон какой, — замоталась я грешным делом, а тут сунуло меня в суседи к одной старушке кардамону прихватить для соления. Так, всего-навсего вывернулась я, может, на полчаса. Прихожу домой, хватъ, а образка-то и нет. Весь дом перерыли — нет образка... Ко мне в моленную, кроме ребятишек своих да одной женщины-поломойки, никто не входил. Ну, кроме этой женщины, некому взять... Согрешила, поклепала на нее — нет, говорит, не брала. Так и пошло с тех пор у нас в доме нестроенье, да вот до чего и дошли: все ушло, как дым. А я тогда с горя-то чуть даже с ума не

сошла: день и ночь ревела об образке. Раз
этак лежу ночью и вдруг удостоилась, греш-
ная и недостойная раба, сонного видения од-
ного старца. Входит он будто прямо ко мне в
покои, поглядел-поглядел на меня таково
строго и вымолвил: «Не умела ты, Миропе-
юшка, беречь своего счастья»... Только всего и
сказал.

История бороздинской семьи очень характерна. Как большинство раскольниковых семей, Бороздины были выходцами из России, откуда их гнали «знаки» гражданской «телесно ощущаемой власти» и «любезного никонианского духовоборного суда». Это было в начале XVII века, когда Урал только еще населялся и представлял собою ту «любезную пустыню», где свободно могли укрыться по лесным дебрям, болотинам, раменью и «за великими грязями» целые тысячи «изящных страдальцев» за старую веру. Между прочим, беглые населенники облюбовали Черное озеро, и таким порядком образовалось Займище, это сильное раскольниковое гнездо, сохранившееся до последних дней. В числе других бежавших из «расейских» насиженных мест был и прадед Бороздин, участвовавший в основании Займища и принеший с собой на Урал только один образ «радостного Христа-младенца».

Займище, как большинство раскольниковых выселков, быстро окрепло, развилось и превратилось в богатое промышленно-торго-

вое село. «Ронили» кругом лес, разбивали пашни, покосы и всякие уголья, завели разный промысел, и Займище быстро воссияло, не в пример другим православным насельям и «жилам» [5]. Крепкая раскольникья организация, артельный склад, взаимная помощь, поддержка «отъинуд»[6] — все это вместе взятое сделало свое дело; но самым главным секретом быстрого процветания Займища являлся тот дух единения, который создается всякими гонениями, а религиозными в особенности. Итак, Займище процвело и мало-помалу сделалось самым укромным уголком для всех других раскольникьих беглецов, находивших здесь приют, хлеб и ласку. «Миленькие горемыки», бежавшие иноземной пестроты и никонианского запинания, «ухлебливались» в Займище, слушали ночное правило и старое пение и шли дальше отыскивать новые дебри, медвежьи углы и непроходимые трясины. Бороздины скоро выделились своим достатком из среды своих односельчан и крепко стали во главе ревнителей первобытного благочиния и раскольникьих милостивцев. Особенно на этом тернистом и опасном пути про-

славился старик Михайло Васильич, который «изрядно был болезнен о деле божьем», тем более, что ему пришлось действовать в тяжелые николаевские времена, когда на древнее благочестие посыпались дождем административные «запинания»: скиты разорялись, моленные запечатывались, книги и иконы отбирались, раскольничьих попов и старцев травили, как зайцев, и они должны были жить под вечным страхом. Михайло Васильич, благодаря своему богатству и связям, умел ладить с духовными и светскими властодержцами, помогал направо и налево и постоянно горел ревностью к своему делу. Большой поддержкой для старика Бороздина был Екатеринбург, где процветала раскольничья поповщина под крылышком сильных людей Рязановых, хотя Михайло Васильич склонялся больше к беспоповщине.

Здесь необходимо оговориться. Кроме поименованных выше внутренних и внешних условий, благоприятствовавших быстрому насаждению и развитию раскола, существовала еще одна сила, которая, по нашему мнению, имела в высшей степени важное исто-

рическое значение в исторических судьбах древнего благочестия: это выдающаяся роль, которую заняла во всех раскольничьих соглашениях женщина, особенно в беспоповщине. Последняя и самая «немощнейшая чадь женская», отринувши свою немощь, могла принимать самое живое и деятельное участие во всех делах своего гонимого братства. Женские слабые руки с молитвой, лаской и чисто женской ловкостью сделали то, чего не могла сделать никакая «мужская крепость»: они давали настоящую раскольничью закалку из поколения в поколение. В бороздинской семье женщины всегда имели видное положение и заправляли большими делами. По наследству эта черта перешла и к Миропее Михайловне, которая после смерти отца взяла на свои руки весь дом; она вышла замуж за небогатого человека из своих староверов и держала мужа в руках.

Бороздинский дом под началом Миропеи Михайловны поднялся на небывалую высоту, особенно когда подросли у нее сыновья. К этому времени как раз около Займища было открыто богатое золото, и сама старушка увлек-

лась легкой наживой, тем более, что с первых же шагов на этом скользком пути ее «сильно поманило», то есть заявленные прииски оказались очень богатыми. Раньше Бороздины занимались отчасти подрядами, отчасти торговлей, смотря «по времени», как говорил Михайло Васильич; с открытием золота бороздинский дом закипел совсем новой жизнью и прогремел на целый округ. Но в самый разгар этой бойкой жизни бороздинский род как-то вдруг «пошел на перевод» — сыновья перемерли один за другим, умерли дочери и даже все внучата, за исключением Афонюшки. Капиталы все были вложены в дела, и Миропея Михайловна осталась почти ни с чем, едва сохранив от общего разгрома только жалкие крохи. Впрочем, молва говорила, что у старухи запрятаны чуть не целые миллионы, как говорится всегда в таких случаях. Миропея Михайловна встретила свое несчастье с христианской покорностью и только сказала:

— Бог дал, бог и взял... Господь за наши-то грехи и не это терпел.

Она не плакала, никогда не жаловалась, а только вся точно съежилась и ушла в себя.

Жизнь ее еще нужна была для Афонюшки, которая осталась круглой сиротой: нужно было «поднять» девочку, а главное — дать ей бороздинскую закалку. Далее для Миропеи Михайловны исходом горя служила сложная деятельность по нуждам своего раскольничьего общества. Она вся ушла в эту работу и мало-помалу сделалась мирским человеком, к которому шли со всех сторон встречный и поперечный со всякой нуждой и заделем, за хорошим советом, а чаще всего — за хорошим словом. В бороздинском доме всегда можно было встретить кого-нибудь из ее бесчисленных клиентов, и, кроме того, у ней вечно проживали какие-то безыменные старушки, юродивые и просто «странные люди». По раскольничьим домам этого выбитого из всякой колеи люда толпится всегда видимо-невидимо.

— Охота вам водиться с этими бродягами! — скажет кто-нибудь старушке. — Еще украдут у вас что-нибудь...

— А куда же им деться, миленький? — спросит Миропея Михайловна. — Для бога-то все равны мы, грешные... Надо же и странным где-нибудь жить. Ихняя-то молитва,

пожалуй, будет доходнее до бога...

Раз я встретил у ней совершенно особенно-го субъекта. Это был парень лет двадцати, очень простоватый на вид и с каким-то детским выражением лица. Он сидел босой, в одной ситцевой рубашке и как-то глупо улыбался.

— Откуда у вас такой молодец? — спросил я.

— Этот-то? А из лесу, миленький, пришел...

— Как из лесу?

— Да так... Он совсем ничего не понимает по-нашему-то, и слов-то у него нет настоящих. Вот хлеб знает, лучину, воду, ну, так, пу-стяки разные. Из бегунов он... Маленьким где-нибудь выкрали, затащили в лес, да там и воспитали по-своему.

— А к вам-то как он попал?

— Да от знакомца одного получила... Имя даже у нею никакого нет, братцем его звали. Ну, зовем теперь Иванушкой... Иванушка, ты чего в лесу-то делал?

Иванушка мотнул головой и певуче ответил:

— Дрова рубил, сестрица... Вокруг кадочки

с водой бегал в рубахах. Лучина горит... сестрицы бегают...

— И не разберешь его хорошенько: то ли он из бегунов, то ли из хлыстов. Разумом-то уж больно прост...

— Где же его нашли?

— А на дороге увидали, с топором идет. Заплутался в лесу и вышел на дорогу. Ну, его и забрали: кто, чей, откуда?.. А у него вон какой разговор-то: сестрицы да братцы, около ка-дочки бегали... Давай по судам таскать, к следователю представляли; ну, побились-побились, да и отдали на поруки. Теперь у меня живет покуда...

— Что же вы с ним делать будете?

— Да так... может быть, образуются; жаль, тоже живая душа, да и любопытный. Всякого народу нагладелась на своем веку, а таких-то еще не видывала... Как есть человек от пня: разговору даже нашего не знает. Теперь вон Афонюшка грамоте его учит, — так замаялась, сердечная. Не знаю, что будет; пусть поживет пока.

Иванушка сидел на стуле и только как-то странно мычал. Лицо у него было настолько

глупое, что сомневаться в его понимании было трудно. Темные волосы, полное дряблое лицо, толстые губы, какой-то вечный взгляд в сторону — все это, в сущности, не представляло ничего особенного: человек как человек, каких встретишь везде, стоит выйти на улицу. Но, вместе с тем, в Иванушке была какая-то неуловимая особенность, которая производила неприятное впечатление, по крайней мере, на меня. Есть люди, к которым чувствуешь совершенно безотчетное недоверие.

Так братец Иванушка и остался жить в борздинском доме в качестве странного человека. Вел он себя смирно и тихо, любил покушать и спал за троих. Занятия с Афонюшкой подвигались крайне туго, хотя Иванушка, видимо, напрягал все свои силы. Нужно было видеть их вместе, и только тогда объяснялась политика старой «баушки». Однажды мы сидели и пили вечером чай. Окно во двор было открыто. Миропея Михайловна взглянула на него и знаком пригласила меня тоже посмотреть. Картина была действительно оригинальная: в тени у крыльца сидел прямо на полу Иванушка и, видимо, лез из кожи, чтобы

прочитать без ошибки какое-то мудреное слово; из-за его плеча выглядывало личико Афонюшки, серьезное и сосредоточенное не по летам. Девочка держала себя совсем как большая и даже походила на маленькую старушку.

— Слава тебе, истинному Христу! — набожно прошептала Миропея Михайловна, широко вздохнула, перекрестилась и вытерла на-вернувшуюся непрошеную слезу. — В бороздинскую кровь пошла девчурка-то...

IV

В раскольничьих делах Миропея Михайловна всегда принимала самое живое участие, а в последнее время посвятила себя им окончательно. Да и было над чем поработать: раскол извне и изнутри подвергался самым разрушительным веяниям.

— Разве жизнь по нынешним временам? — роптала старушка, покачивая головой. — Только маются да себя обманывают... Вон какую штуку укололи наши-то займищенские с городским банком вашим; слышал, поди?

— Мельком слышал. Это о Митрофанове?

— Да, о Митрофанове... Наш ведь он, Митрофанов-то, займищенский старожил, старообрядец тоже. Ну, было у него кожевенное заведение в Займище и торговлишка в городе. Хорошо... Только как-то попал он в городскую управу да в банк. Сидел-сидел там и придумал штуку: давай займищенских мужиков наших соблазнять, чтобы они домишки свои в банк закладывали, а уж я, дескать, своим-то помогу. И началась потеха... Приходит мужик

в банк и закладывает свой домишко, кто за двести, кто за четыреста, а кто и за всю тысячу рубликов. Митрофанов всех нахваливает, как самых справных мужиков, а сам вместо денег-то и рассчитывает их своими кожами, да еще по своей цене. Сколь же он ни хитер, прости ты меня, господи!.. Выискался же такой пес... Ну, наши-то займищенские и позакладывали своих потрохов тысяч на восемьдесят. Легкое место сказать!.. Ну, выкупить нечем, проценты нести в банк тоже нечем, — и пошли все продавать с аукциону. Продавали-продавали, да едва тысяч шесть набрали... Деньги-то мужики размотали, домов лишились, да и посиживают теперь ни у чего. Скажи ты мне, ради истинного Христа, слыханное это дело, а?.. Положим, Митрофанова судили, лишили прав и сослали куда-то в хорошее место, а все-таки наши займищенские захудали для его воровства, как последние нищие. Это как по-твоему?..

— Очень некрасиво вышло...

— Уж на что некрасивее, милушка. А главное, мужики — что ни на есть самые простые — и те на разные хитрости поднялись;

вот беда-то где наша! Диви бы были они ученые какие, образованные там, а то просто все народ от пня. Да и везде это пошло, на всякие манеры поднимаются: один дом застрахует да выжжет, другой несостоятельным себя объявит, третий просто украдет здорово живешь... Ох, тошнехонько и говорить-то!.. А все оттого, что ослабел народ, шататься начал из стороны в сторону да искать, где ему легче... Вишь, всем зараз тяжело стало, точно прежде не жили... Да еще как жили-то! Уж нынче ли не жить, кажется: слава богу, до всего, кажется, свободно, а вот ты поди, потолкуй с народом-то...

Старушка часто возвращалась к этой теме и постоянно иллюстрировала ее новыми подробностями.

— Прямо, последние времена наступают, — несколько раз повторяла она в заключение. — Чего же еще нам ждать-то остается?.. Прежде мы все православных корили за ихние поступки, а нынче и наши старообрядцы в отличку пошли: один лучше другого стараются сделать.

Уральский раскольничий мир за послед-

нее время действительно переживает самую пеструю полосу всяческих напастей, преимущественно внутреннего характера. Возникли нелады, мятеж и свара немалые, и «сталось развратное прекословие, неукротимое рассеяние и рознь даже до драки». Первые семена раскола на Урал занесены беспоповщиной и были особенно утверждены выгорецкими выходцами и кержаками; поповщина явилась после, но также утвердилась на Урале и даже перевысила беспоповщину. Затем наступило междусвященство, и опять старчество забрало прежнюю силу, чему способствовала царившая между раскольничьими попами вражда и крайне соблазнительное поведение. В самое последнее время жестоко схватились между собой екатеринбургские раскольничьи попы Трефилий и Иоанн, так что эта «пря» вызвала приезд на Урал самого Савватия, епископа тульского и пермского. Но Савватий не умиротворил, а еще больше подлил масла в пылавший огонь раздора, потому что стал на сторону Иоанна, отринув Трефилия как черноризца; между тем последний пользовался особенными симпатиями паствы. Одним сло-

вом, совершился великий соблазн, множивший новые разделения и свары.

Миропея Михайловна хотя душой и тяготела к своим излюбленным старцам, но в то же время сильно болела всеми неустройствами и роэнью приемлющих священство.

— Все, миленький, от одного корня-то пошли, — говорила старушка и укоризненно качала головой. — Прежде этого не было... Нехорошо! Ох, как это плохо!.. Старики вздорят да тянутся промежду себя, а молодые в сторону глядят. Какой-то совсем равнодушный народ нынче пошел... Нельзя сказать, чтобы там в православные уходили, а так как-то, все им равно. Не стало прежнего прилежания к своему, божье дело пустеет.

Но самым больным местом старушки были те секты, которые народились и нарождаются на Урале. Этого нельзя было объяснить ни равнодушием к божьему делу, ни отпадением; выходило что-то такое совсем особенное, не подходившее ни под какие рамки. Миропея Михайловна просто отказывалась понимать целую полосу народившихся религиозных веяний, потому что эти последние «но-

вины» казались ей хуже самого заклятого никонианства.

— Воистину пестрая вера пошла! — с каким-то ужасом говорила Миропея Михайловна. — Какие-то «пахтеи» завелись, бегуны эти самые, хлысты... Ох, прости ты, господи, наши великие согрешения! А то вон в Невьянском заводе еще Лучинкова вера завелась... Сказывают, ребят воруют да лучинками до смерти затыкивают, чтобы кровь для причастия добыть.

— Все это сказки, Миропея Михайловна. Невьянские лучинковцы — те же бегуны и детей крадут, чтобы воспитать где-нибудь в лесу, вот как ваш Иванушка.

— Знаю, что басни, только иногда сумление возьмет; вон какой нынче откатной народ пошел!

Мне особенно часто приходилось встречать в последнее время в бороздинском доме какого-то высокого мужика, который, очевидно, имел большое дело до старушки. Он всегда смиренно сидел в углу на стуле и выглядывал исподлобья; по костюму в нем сразу можно было узнать заводского «мастерка».

— Это еще что у вас за мужик? — спросил я Миропею Михайловну.

— Так, мужичок один... — уклончиво отвечала старушка, строго собирая свои сухие губы. — Из Коробковского завода он будет, — ну, иногда забредет по пути. Надоел до смерти: самый сумлительный мужичонка и упрямый... Господь с ним совсем!..

Видимо, что этот гость был из неприятных, и старушка сильно волновалась после каждого его визита. Однажды я зашел к ней в разгар очень неприятной сцены: Миропея Михайловна бегала с несвойственной ее возрасту быстротой по комнате, размахивала руками и, видимо, сильно горячилась, о чем свидетельствовали красные пятна, выступившие у нее на лице; мужик стоял у окна и смотрел, по обыкновению, в сторону, а при моем появлении сейчас же вышел из комнаты, не простившись ни с кем. Миропея Михайловна от волнения долго не могла выговорить ни одного слова, пока я не принес ей воды.

— Что у вас такое случилось тут? — спросил я, когда старушка немного успокоилась.

— А вот видел мужичка-то? Так вот этот са-

мый мужичок жилы из меня тянет!.. Он из неплательщиков, секта такая есть в Коробковском заводе. Только эти неплательщики жен своих не хотят знать, детишек — тоже, и все шлются на какую-то четырнадцатую статью горного устава, будто там все это обозначено, то есть и насчет податей, чтобы не платить, и относительно жен, чтобы их не считать за настоящих жен.

— Ничего там нет такого, Миропея Михайловна, да и быть не может.

— И я то же говорю. Ну, статочное ли это дело, чтобы начальство такой закон написало! А вот поди, потолкуй с ними: уперлись об эту четырнадцатую статью, как быки в стену, — и не своротишь. Да и все евангелие на русском языке читают, а старых наших книг и знать не хотят, тоже вот двуперстия... Это как по-твоему?

Весной мне нужно было по одному делу съездить по недавно открытой уральской железной дороге в Пермь. Движение только что открылось, и поезд был битком набит публикой, спешившей перебраться в российскую сторону. Я взял билет третьего класса и сейчас же после первого звонка постарался занять место в вагоне «у окошечка». Публика совалась с узлами и дорожными принадлежностями из вагона в вагон, отыскивая места получше. Происходили неизбежные в таких случаях недоразумения и пререкания из-за мест, публика ссорилась, ворчала, на скорую руку прощалась с провожавшими родственниками и знакомыми и вообще сильно волновалась. Напротив меня на скамье поместился неизбежный «купец», без которого вы не обойдетесь ни на одной железной дороге или на пароходе. Такой купец непременно занимает три места и отстаивает их всеми правдами и неправдами, пока не наткнется на какого-нибудь зубастого обер-кондуктора. Купец везде забрал большую силу и распола-

гается на железных дорогах и на пароходах, как у себя дома, а вся остальная публика слушает только некоторым дополнением к нему. Мой купец был достойным представителем своего сословия и держал себя с большим апломбом, обложившись кругом мешками и подушками, точно крепость в осадном положении. Рядом со мной — тоже купец, тоже занял два места и тоже отбивался от осаждавшей публики.

— Занято место... нельзя-с!.. Проходите дальше...

— Да у вас целых три места!

— Это женино место-с, а тут дитю... пожалуйте дальше-с!.. В следующем вагоне даже пустота...

Доверчивые пассажиры тянули к несуществовавшей пустоте, а купцы переглядывались и хихикали. После второго звонка показалась какая-то женщина с мешком в руках, и я в ней узнал сразу Миропею Михайловну.

— Места ищите, Миропея Михайловна?

— Места... Ах, да я и не признала вас сразу-то! Заморилась совсем, все обзаведение обошла, и нигде не пускают...

— Садитесь вот сюда, — указал я место рядом с собой.

— Занято-с... дитю придет, — попробовал защититься купец.

— Нет уж, пожалуйста, оставьте свои фокусы, ваше степенство... Это моя родственница.

— Сродственница? Ну, так пожалуйста-с, мадам, а я, значит, напротив вас сяду вот к ним... По двое на лавочке и будет!..

Старушка опустила на скамью свой кожаный мешок и как-то безнадежно посмотрела кругом, как ребенок, которого «закружили» и у которого все вертится в глазах. Она была одета по-дорожному, в старую лисью шубку и в тяжелую, теплую шаль. Поместившись на лавочке, Миропея Михайловна истово перекрестилась сама, перекрестила окно вагона и даже купцов.

— Вы не в первый ли раз по железной дороге? — спросил я.

— В первый, голубчик... не бывала сроду, а вот привел господь. Не думала, не гадала, а довелось. До смерти и напугалась: иду по вагонам-то, а сама думаю: вот раздавят... Иду да про себя молитву творю. Ох, согрешила я,

грешная...

— А далеко вы собрались?

— Я-то? Уж не спрашивай, голубчик... Сама не знаю, куда еду. Сказывают, язык до Киева доведет... В Москву пробираюсь; не знаю, как господь донесет.

— А как же вы с Афонюшкой-то расстались?

— Да ведь нету у меня Афонюшки-то, голубчик...

— Как так?

— Еще перед Рождеством по осени умерла моя голубушка...

Старушка вытерла скатившуюся слезу и замолчала. В это время поезд двинулся, и она торопливо начала креститься, боязливо поглядывая в окно, которое застилало клубами черного дыма.

— Ох, страсть какая!.. — зашептала Миропея Михайловна с неприятным ужасом. — Батюшки, как бы не расшибло... Больно уж стучит да и дым этот... Ежели бы знала, так ни в жисть не поехала бы... Да, по осени, голубчик, преставилась моя Афонюшка... только не совсем будто правильно. Помнишь Ива-

нушку-то? Ну, от него и в землю пошла моя касаточка... Чуть ведь он ее до смерти не убил, едва живую отняли. Ну, известное дело, много ли ребенку нужно... измял он ее, как медведь. По осени-то в огороде у меня уборка шла — картофель копали, лук резали. Я сама-то в подполье копаюсь, а Иванушка с Афонюшкой в огороде овощ собирают. Только так что-то у меня с самого утра сердце давило... Ну, я нет-нет да и загляну в огород. Все было ничего, а тут прихожу да так и помертвела вся... Иванушка-то завалил Афонюшку в борозду, придавил ее коленом да и душит. Господи, так у меня со страсти даже ноженьки подкосились... Не помню, как я ее вырвала у него; а Афонюшка вся синяя из лица-то, и пена на губах. Ах, грех какой!.. А Иванушка на меня тоже остребенился: я от него с Афонюшкой, он за мной; да ведь я едва ушла от него! Страшный такой, глаза кровяные, трясется... Ну, отводилась я с Афонюшкой и спрашиваю, что у них такое вышло. Афонюшка и говорит: «Ничего, баушка... Я посмеялась над Иванушкой, что у него картофель хуже, а он меня и принялся душить. Дальше уж не помню»...

Сильно он повредил ее тогда, — грудку измял, горлышко издавил; ну, она, Афонюшка-то, и начала чахнуть. Как свеча тает... Все покашливать начала по ночам, нехорошо таково покашливать, да и преставилась.

— А сколько ей лет было, вашей Афонюшке-то? — спросил один из купцов, переглядывавшихся во время этого рассказа.

— Да тринадцатый годок пошел бы на зимнего Николу.

— Так-с... А из себя как она была?

— Да что же, девочка-девочкой... ребенок совсем.

— Нда-с... случается-с, ежели недосмотр. Надо было освидетельствовать...

Миропея Михайловна только теперь поняла, куда гнул купец, и вся вспыхнула: это подозрение оскорбило ее до глубины души, и она только прошептала:

— Что вы, что вы, господь с вами!.. Ребенок, ангельская душа...

— А Иванушку-то вы в суд предоставили? — спросил второй купец.

— Да ведь странненький... как представлять-то?.. Не от ума...

— Ну, уж это вы совсем напрасно-с, мадам... Нужно было прямо в окружной, там бы все разобрали.

— Нет уж, милушка, господь нас миловал от судов, а на суды и без нас много охотников-то... Меня ведь надо было судить-то, мой недосмотр. Уж легче бы на душе, кабы такой суд где был, а то теперь вот все и думаю да мучаюсь про себя. Два года выжил Иванушка-то у меня, все был ничего, тихий такой да покорный...

— Они, подлецы, все на одну колодку! — заявил первый купец. — Станные-то эти... Все ничего, прихрулится, как путный какой, а потом и облапошит. У нас этак же странница одна жила, Федосьей звали. Ну, для спасения души держали, а она, шельма, запон кожаный у повозки срезала да и убежала с ним... Это прежде странные-то будто точно что бывали, а по нынешним временам... не такие времена, мадам!..

Поезд мчался по холмистой равнине, которая идет от Екатеринбурга к Невьянску. Далее местность все повышается и за Кушвой вступает в настоящую горную область. По сторо-

нам мелькали небольшие лесистые горки, торфяные болота, полосы воды и там и сям работавшие старатели.

В Невьянске наши купцы вышли.

— Хорошее было место! — печально заметила Миропея Михайловна, поглядывая в окно на расстилавшуюся картину первого по времени основания уральского завода. — Много наших старообрядцев отсюда вышло. Ну, а теперь то же, что и у нас в Займище: умаление и пестрота.

— А вы зачем в Москву, можно узнать?

— Дельце вышло одно, голубчик, — ответила старушка, оглядываясь по сторонам. — Вышло разрешение нам на моленные, значит, можем себе ставить их; ну, и везде ставят по своей силе: у вас в Екатеринбурге, в Тагиле... Еще есть боголюбивые-то народы. У нас в Займище тоже надумали моленную, ну, посудили, порядили и вырядили, чтобы наш бороздинский дом повернуть в моленную. В самой середке он стоит, осередь жила, да и крепко поставлен... Я даром его отдала, потому — куда мне дом-то. Так же стоит, а мне одну каморочку — и довольно. Еще вот Афо-

нюшка-то жива была, так забота с ней, как и что, а теперь... Ну, а нам и не разрешили, начальство не разрешает. Отводят место за жиллом. Послали в Питер особенного ходока. Хлопотал он там цельную зиму и пишет, что расходов много и что, главное, надобно сделать какому-то чиновнику ужин с францужинкой... ей-богу!.. Пятьсот цалковых на ужин-то просит. Вот я и поехала сама, чтобы без францужинки поужинал-то... Надо послужить миру и нашей сестре. Только еду я, голубчик, а сердце у меня не лежит ни к чему... даже весьма это грешно. Как умерла Афонюшка, точно во мне что оборвалось и точно я себе-то чужая стала... Последняя веточка от Бороздинского роду была, и та изгибла. Да и старой вере, видно, тоже конец приходит, хоть там и моленные разрешили: не стало прежнего... пестрота началась.

Странно было слушать эти речи под грохот мчавшегося поезда, да и сама Миропея Михайловна чувствовала это, с тоской поглядывая на проносившиеся мимо нас синие дали. Все было кругом новое, все торопилось жить, — одна она оставалась в стороне, с гла-

зу на глаз со своим старым горем, от которого ни уйти, ни уехать, а главное — незачем было больше жить... Что может быть страшнее этого?

* * *

Из своей поездки в Москву старушка не вернулась: она умерла где-то дорогой.

1885[7]

Примечания

Стаи — конюшни, сарай.

[^^^]

Повалуши — общие спальни.

[^^^]

«фрязи» XVII века, иконы новгородского пошиба, строгановское письмо и особенно много икон так называемого сибирского письма — речь идет о школах русского иконописания.

[^^^]

...окладами обронного и басменного дела, с разными поднизями, рясно и цатами — старинные названия различных украшений икон; оклад иконы — серебряная или золотая риза; обронный — чеканной работы; басменный — тонкий, листовой (из серебра); поднизь — жемчужная или бисерная сетка, бахромка; рясно — ожерелье или подвески; цата — приклад, подвеска.

[^^^]

На Урале называют всякое селение «жилом»: «у нас в жиле...», «осередь самого жила...» и т. д. (Прим Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

«Отъинуд» — из другого места, от иной стороны.

[^^^]

Впервые опубликовано в «Журнале романов и повестей» (издаваемом редакцией «Недели»), 1885, № 7. Включено автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905. Рукопись (с пометкой «19 апреля 85 г., Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

Страницы рассказа, относящиеся к описанию «древлей» иконописи, раскольничьего быта (в том числе и мотив исчезновения особенно ценной иконы), перекликаются с «Запечатленным ангелом» Н. С. Лескова.

[^^^]